

Частное лицо, не имеющее доступа к стратегической, административной и финансовой информации, в состоянии дать разве что чрезвычайно субъективную картину того, что творилось в словесности в истекшие тридцать пять лет, и потому мне придётся опираться на статус «участника литературного процесса» примерно от середины 1990-х гг. до наших дней — наблюдателя, но не действующего лица.

Отмена отменённого

Отмена в 1991-м году Советского Союза качество гуманитарных процессов никак не улучшила: снижение уровня демографии, образования, медицины, частной безопасности граждан ещё долго будут прямыми следствиями развала путь и не слишком стройной, но тщательно выстроенной системы социальной жизни.

В области гуманитарных процессов и особенно в словесности победа Запада над СССР имела целый ряд негативных последствий: на смену одному идеологическому рабству явилось другое, более изощрённое, подпёртое неолиберально-буржуазной рыночной идеологией.

Цивилизационное противостояние было тогдашним советским руководством сознательно проиграно в надежде на вхождение в «семью европейских народов», и началась тихая, но упорная расправа с побеждёнными, причём даже не с теми, кто стоял на советских позициях — такие «ископаемые» были ко второй половине 1980-х гг. в обществе огромной редкостью — а со всей современной русской письменной культурой.

Развал страны был тщательно подготовлен идеологически; устарела и казалась архаичной риторика «классовой борьбы» и её продолжения, «борьбы за мир»; людям смертельно надоела сама парадигма непрестанной борьбы как за абстрактные, так и за конкретные ценности. Им захотелось того самого мира, за который они якобы всю жизнь и боролись, и вслед за насыщением рынка предметами если не роскоши, то достатка, произошло снижение планки жизненных приоритетов. В поздней советской идеологии победил ненавидимый советскими идеологами мещанин, обыватель, глубоко равнодушный к тому, что не приносит ему конкретного дохода. Его здравый эгоизм оказался намного более живучим, нежели пламенная революционность. Голые скалы энтузиазма начали заболачиваться чаянием реальных жизненных благ, просвечивающих сквозь плотные номенклатурные покровы.

В таком состоянии предать советских людей было легче лёгкого, пообещав им близкий рай и отдых после блуждания в идеологических зарослях: жизнь большинства была скучна ровно настолько, насколько ей уже не были благодарны за её пусть и скромное, но богатство, но богатство именно своё, а не заёмное. Этого-то «своего» огурца, пусть и плохонького, а не натёртого рыночными ловчилами на рынке воском, оценить и не смогли, и не захотели.

Перемены приближались, и культура начала готовиться к большому идеологическому повороту.

Чем залиvistее распространялись лекторы-пропагандисты о загнивающем Западе и близком торжестве социализма по всему миру, тем больше в глазах простого человека выглядели они бездельниками. Интеллигенты ещё и припоминали, с каким презрением и ненавистью смотрели ещё несколько десятилетий назад идеологические органы в сторону их пред-

ков, и каково в принципе было социалистическое отношение к интеллигенции, и какие чистки она была вынуждена пройти, чтобы уцелеть.

Таким образом покупка элит сделалась предприятием весьма и весьма для Запада доходным: за кустарные бусы дикари отдают в рабство и жён, и детей, а мы, несмотря на фундаментальное образование, были на рубеже 1990-х гг. типичными дикарями, а если точнее, то гражданами патерналистского сознания, убеждёнными в том, что с любой проблемой можно найти правду если не в суде, то в обкоме. Поэтому конкурировать на мировом рынке труда никто из нас, выращенных в номинальном социальном равенстве, не мог изначально, и никто не хотел новой гонки на выживание, но нам пришлось выживать, и нельзя сказать, что нас не предупреждали. Советские газеты криком кричали о волчьих капиталистических законах, но мы не верили им, потому что правду о скудной жизни в нашей стране они явно искажали.

Таков парадокс потребления — чем больше «рынок» насыщается товарным изобилием, тем более опережающими темпами растут «чаяния граждан», и эти-то опережающие темпы и заваливают режимы, казавшиеся вечными. На самом деле экономика здесь была абсолютно ни при чём: огромная идея равенства и братства выветрилась из нас, как дым из некогда пылавшего костра, и обесмыслился, и был снова отчуждён от человека его труд на своей земле.

Нити управления сознанием широких народных масс через письменные, визуальные и прочие образы начали концентрироваться в совершенно иных руках, нежели в аппарате ЦК КПСС на Старой площади, Союзе писателей СССР и Министерстве культуры СССР.

После 1991-го года уже вполне официально было введено внешнее управление «новой российской культурой» при максимально активном задействовании различных международных (евроатлантических) структур, на которые опиралось и экономически ослабевшее государство, и номинально независимые «фонды» местного разлива. На первом этапе в период заграничных выездов вербовались тайные сторонники поворота внутри политических, экономических и культурных ведомств, а затем к ним извне прикреплялись видные зарубежные «консультанты», образуя сплочённые тандемы сокрушения «командно-административной системы». Кадровые связки финансов и управления культурой помогали эффективно распределять потоки средств.

Начали с наиболее доходчивого и массового искусства — кинематографа (остальные, мол, подтянутся). То, что творилось на их V съезде, иначе, как бунтом прозападной черни, назвать нельзя. С литературой расправились несколько тоньше — вырвав знамя СП СССР у его главы Карпова, отдали его МСПС (Международное сообщество писательских союзов), которое сами же признали по суду незаконным преемником СП СССР. «Письмо 74-х», проведшее линию разграничения между либералами и патриотами, раскололо писателей на СПР и РСР — патриотов и демократов.

Для того, чтобы управлять культурой идеологически побеждённой страны, нужно в первую очередь организовать отрицательный отбор художественных произведений: продол-

бив «перестроечной публицистикой» в массовом сознании изрядные бреши, начать штурм наиболее неприступных цитаделей.

Западу с его неограниченным финансовым ресурсом нужно было лишь затоптать наиболее одиозных бунтарей, замолчать фундаменталистов с их традиционным пониманием действительности, переключить общественное внимание с горестных романов, например, Юрия Бондарева, на продукты гораздо более лояльные к ценностям нового образца. Параллельно следовало возносить наиболее пакостных представителей «новой словесности», ревностно начавших отрабатывать на новых властителей радикально феминистическую и ЛГБТ-повестку, мультикультурализм как размытие национальной идентичности и полнейшую толерантность в его отношении.

Но как заставить бывших советских литераторов почувствовать новую «идею»? Определяющим при ротации словесности «нужной» и «ненужной» становилось мнение неких «экспертов» (как правило, штатных офицеров ЦРУ и ФБР), с необыкновенной лёгкостью присваивавшим русским словесникам клички «национал-патриот», «красно-коричневый», позже — «гомофоб» и «антисемит». Либерально-глянцева пресса, включая толстые литературные журналы открыто либерального направления, здесь отработала блестяще: сразу стало ясно, кто консерватор и хам, а кто прогрессист, интеллигент и умница, верный западноевропейскому пониманию вещей — мягкости в обращении с натурой, тонкости оценок и непреклонному обращению якобы перед любой властью (на самом деле вовсе не перед любой, а только перед собственной, которая во всех случаях «отвратительна, как руки брадобрея»).

В национал-патриоты можно было попасть изумительно просто — описывая древнюю и современную деревню или употребляя запретное слово «русский» даже в совершенно нейтральном фольклорном контексте. Табу было наложено на всё, что связано с национальной идентичностью — её можно было только желчно громить и порицать. Шанс попасть в «друзья нового Рима» оставался лишь у словесников, описывающих русскую деревню гибнущим от зависти и инцеста адом.

Это была поистине грандиозная спецоперация: полная замена советских парадигм на презрение к простому физическому и интеллектуальному (научно-техническому и гуманитарному «за копейки») труду, «роевому сознанию», «тюремным догмам». Примерно так совершился переход от когда-то безраздельно властвовавшего на просторах Отечества «Общего Дела» к поистине мегалитическому эгоцентризму, который ни о чём, кроме липких и пакостных извивов психики автора, читателю не сообщал, и потому он, читатель, был вынужден от подобной словесности отстраниться.

Если вспомнить лозунги начала 1990-х гг., ничего, кроме «частого обогащения», в них не было. Перестройка с её демократизацией, гласностью и ускорением мгновенно обветшала: «трендом» стала финансовая независимость от государства. По фильмам той поры видно, каким должен был тогда быть мужчина — длинный светлый плащ, длинный красный матерчатый шарф, под ним — хороший двубортный костюм, шляпа, «джентльменская» обувь. Какой должна была быть женщина, лучше не описывать. В быт и язык вторглись «ваучеры», «приватизации», «веерные отключения», и всё это на фоне кошмарных рекламных слоганов.

Новые буржуа — класс, который лепили в угоду Западу буквально «на коленке», вяло, «через губу», пожелал новой словесности, и постсоветская, уже полностью перекарасившаяся в «демократическую» словесность, верная вечному холуйскому «чего изволите», поспешила исполнять заказ.

Специфика «новой российской словесности» заключалась в том, что у показной прослойки скороспелых богачей (бывших инженеров и экономистов средней руки, сделавшихся «бизнесменами» и «предпринимателями») нервы и так были на пределе: отношения с банками, кредитами, поставщиками и дорогими партнёрами, опекающим их рэкетом были так сложны и запутаны, что люди, пожив среди роскоши (не успевших побыть распакованными коробками с компьютерами и принтерами), буквально через несколько месяцев уже лежали с пробитыми снайперами черепами в собственных подъездах. Нужна ли была им литература? Разве что как антураж. Им было просто некогда её читать, и всё же угодливая литературная среда бросилась искать им сюжеты и стили. А вдруг бросят что-то с барского стола... и бросали же!

Так возникла русская *буржуазная литература ни о чём*. Литература-развлечение, литература-призрак. То есть, буквально она состояла из томлений неких эстетствующих эстетов по неизвестно, чему. Приключения, секс, иногда рефлексия о различных отправлениях — уродливый клон западноевропейского авантюрно-приключенческого или «интеллектуального» романа, и такой же мелкий городской пижон, как и его прародители. Принципиальное отсутствие сюжета, мутные кляксы загадочной полу-действительности погрузили страну в наркотический транс, благо и разводные технические спирты, и пиво было на каждом шагу, да ещё и рекламировались на «Первом канале» как лучший анестетик от социальных невзгод.

Главным героем «новой российской литературы» сделались деньги, и притом случайно свалившиеся, а не заработанные. Деньги управляли сюжетом, героями и их взглядами на бытие, притом, что традиционное русское понимание жизни напрочь исключало правоту богатых. Несмотря на явное противоречие христианскому миропониманию, общей канвой литературы-мутанта стала занятность — «лёгкий» юмор и лёгкий же флёр криминала и эротизма и ни к чему не обязывающая интрига — так начиналась новая бульварщина, скоро подавленная дешёвой переводной коммерческой мутью, аналога бесконечных latinoамериканских сериалов по ТВ.

В стране со сравнительно большим процентом людей с высшим образованием она имела успех уже в том, что отвлекала от забот, и так возникла условно «западная» модель массовой литературы, ориентированная на мелких служащих невеликого ума и достатка. Её цели — снизить уровень рефлексии, опустить массовое сознание до физиологических реакций, обуржуазить вселенную, некогда полную великих тайн и борений, заменить их суррогатами — были реализованы в кратчайший срок. Уже к исходу 1990-х гг. люди восхищались ворами и убийцами, изуверами и садистами, предателями и грабителями, циниками и торгашами.

Больше всего этот нищенский балаган поражал наивностью и подражательностью: *мы ж без пяти минут Запад, вот-вот уже станем им, и тогда ужо потягаемся с гражданами в действительно дорогих шмотках и лимузинах за Гонкуровскую или Пулитцеровскую премию*.

О, бедная несчастная сошедшая с ума от алчности свора без малейшего понятия о природе западного богатства и его же словесности, ходящей во фраках лишь во время торжественных приёмов! Представление о том, «как у них», возникло в ней без малейшего понятия о сложнейшей сословно-социальной структуре европейского общества, о жесточайшей конкуренции между собой и коммерческих, и независимых писателей и издателей, вне минималь-

ного представления о современной литературе Запада и её тенденциях, доходивших до советского читателя с опозданием, в приблизительных переводах, одобренных на той же Старой площади исходя из того, «прогрессивным» или «классово и идейно чуждым» является тот или иной западный автор.

Скоморошество заскв (свободно конвертируемую валюту)

Новой российской культуре блестяще удалось лишь одно — стать образцовой «обезьяной Запада», неуклюже копирующей его ужимки и прыжки. Гниль разложения впитывалась обеими ноздрями в духе восторженной медитации. Нужна порнография? Мы тут же, скоренько, о, великий белый господин, дайте нам только месяц! неделю! сутки! мы оправдаем великое доверие! Расходится нацизм? Срочно в типографию!

Главным делом постсоветской культуры стало сокрушение в человеке «модуля тоталитаризма». Должны были быть изничтожены на корню прежние морально-этические нормы, и в частности — главная святыня — подлинно всенародное преклонение перед русским солдатом-освободителем.

Нисколько не удивительно, что наиболее обсуждаемыми произведениями 1990-х стали «Кавказский пленный» Владимира Маканина о выдуманной в угоду «повестке» гомосексуальной страсти русского солдата к пленному чеченскому юноше, «Казённая сказка» Олега Павлова об армейской скудости и снова гомосексуализме военных, роман «Генерал и его армия» Георгия Владимова с перечислением слабостей и пороков «системы» — высшего генералитета Красной армии во время Великой Отечественной, и также роман же «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, где главенствующей интенцией была той же самой — проклятья «совку».

Параллельно был поднят вал совершенно неприличных фантазмагорий на советскую тематику от Пелевина до Сорокина, а также поистине девятый вал «возвращённой» (читай — «эмигрантской, запрещённой в СССР») словесности от «Окаянных дней» Бунина до «Лолиты» Набокова.

Поэзия была от СМИ ультимативно отстранена, а если и приветствовалась, то отстранённая, вялая, изобилующая филологической заумью, не могущая и вполслова проговориться о том, как всех нас предали. Трое поэтов нового поколения в этой удушливой и равнодушной одновременно атмосфере погибло практически сразу — Борис Рыжий, Денис Новиков и Леонид Шевченко. Из двоих первых слепили миф, но только для того, чтобы затоптать остальных.

Критика подразделилась на хвалебную коммерческую и мутную интеллектуальную. Об обществе, переживающем апокалиптическое снижение жизненного и интеллектуального уровня, говорить было строго запрещено под угрозой приклеивания ярлыков, описанных выше. Так воцарилась либеральная цензура, всё сильнее напоминавшая фашистскую. Маргинализованной будто бы специально оказалась область патриотических изданий — газета «Русский порядок» со стилизованной свастикой, раздававшаяся бесплатно у музея Ленина, сообщала своим внешним видом прохожему разве что о том, что «русские — инстинктивные фашисты, не будьте, как русские, а будьте, как европейские, целее будете».

Современная русская литература, дышавшая на ладан и в толстых журналах, и в типографиях, и в СМИ, прекращала течение свое, когда её решили своеобразным образом «под-

держат»: к ней был подключён «премиальный процесс», искаживший приоритеты настолько, что с его последствиями русским людям придётся жить ещё не одно десятилетие.

Призовая игра

«Читайте отмеченных, читайте рекомендованных — не прогадаете».

Именно в 1990-е гг. словеснику до государственных премий тянуться стало бессмысленно: тиражи упали в сотни раз, и говорить стало просто не о чем. В 1992-м отметили Битова и Тряпкина, а дальше началось время частных премий, среди которых «Триумф» Березовского и Богуславской (супруги поэта Вознесенского), «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Русская премия» для русскоязычных иностранцев, а также прочие изыски того же рода, обильно освещаемые различными бумажными и Интернет-СМИ и даже местами телевидением.

Перечисление фамилий наиболее частых лауреатов этих наград настолько не доставило мне никакого удовольствия, что я уничтожил эти наскоро набросанные реестровые абзацы. В конце концов, эти имена скажут что-то лишь тем, кто напропалую читал премиальную продукцию последних тридцати с лишним лет и при этом что-то из неё вычитал, а я ограничусь пометой о том, что механика присуждения литературных премий целиком и полностью служит поощрению социально и идеологически близких. Ради видимости объективности допускается ввести в премиальную суету пару имён из противоположного лагеря, но не более.

Если долго и нудно сопоставлять бухгалтерию книжной торговли, премиальная шумиха поразительно бесплодна: продажи книг даже после назойливо вдавливаемых телесериалов по ним практически не поднимаются, потому что даже на «квалифицированного потребителя» гнусно свёрстанная маркетинговая чушь не действует. Слой читающих так узок, что лично на меня объявление очередного лауреата действует как предупреждение о том, что книг этого автора касаться не следует ни в каком случае.

В 2004-м я сам прошёл в «лауреаты». Премия имени Пастернака довольно долго оставалась моей единственной литературной наградой, но ощущение её с годами сделалось весьма двояким, если не сказать большего. С одной стороны, в тридцать два года я стал «молодым поэтом в законе», то есть, меня легитимизировали для уцелевших читателей, а с другой стороны я остался ровно там же, где был с точки зрения «издания книг за свой счёт» — ни одно издательство мне печати не предложило, и ни один журнал не предложил мне прислать подборку («Сергей, вы просто не наш автор», говорили мне в 2000-х гг. с улыбкой и похлопыванием по плечу, как бы предупреждая мои вопросы, которых я и не думал задавать этим «ответственным лицам»), а с третьей стороны я ещё и вдоволь выкупался во время награждения в «московском бомонде», не дающий вольному наблюдателю ничего, кроме ощущения исключительной липкости и мерзости.

Деньги на «пастернаковку» давал достославный Павел Павлович Бородин, а наличие в зале открытых содомитов и «первых феминисток страны» и вовсе превратило Бетховенский зал Большого театра в помещение для сатанинского бала. Фуршет, наверно, был отменным, но мне ничего в рот не лезло.

Я смотрел в изрядно потасканные лица отечественной интеллигенции и ужасался тому, в какое отребье всего за пятнадцать лет «свободы» она превратилась. Нигде, ни в ком ни штри-

ха благородства, ни морщинки смысла. Мягко говоря, не высший свет, но какие же иные лица приходилось видеть Пушкину на императорских балах? Возможно, я просто не люблю людских скоплений, но тот вечер показался мне крайне утомительным и безобразным. Душа металась.

Воспитание дорогих чад

Воспитательный процесс в современной русской поэзии тех лет возглавили две универсалии для молодых — «Дебют» и «Липки». Формально получить премию «Дебют» я был не в состоянии по возрасту (Литинститут я окончил в 27), и потом возрастная планка синхронно повышалась вместе с повышением и моего возраста, но кто бы вообще обратил там на меня внимание?

Помню, как в один из первых сезонов «Липок» я получил приглашение стать соведущим какого-то семинара, и, конечно же, отказался, потому что у меня не нашлось времени околачиваться за городом несколько дней подряд — на службе, которая составляла мой единственный источник дохода, меня бы просто не поняли. В первый же год существования этой первой ШБП (школы быстрого писания) стало ясно: в основном в «Липках» занимались выгадыванием стипендий от фонда Филатова СЭИП, а в промежутках между обсуждением подборок занимались богемными ремёслами — спаиванием и перекрёстным опылением на всё готовых ради стипендии поэтесс.

Лауреаты «Дебюта» — песня отдельная. Там переформатирование сознания нового поколения было просто опустошительно успешным. Ценились (как потом в недолго (до начала СВО) потрепывавшейся «Поэзии») верлибр, обильно сдобренный неумелой интеллигентской матерщиной, к слову, в полном соответствии с отборочной политикой другой институции — «Московского счёта».

Принцип отбора в молодую поэтическую элиту был максимально наглядным: на вершину неизменно взбегало откровенно юродливое — точно так же, как на «слэмах» (снова непонятный термин, раскрываемый как публичное и как можно более выразительное чтение стихотворений за симпатии публики и жюри). Чем более смешное у поэта выражение лица и чем более инфантильны его потуги, тем большими шансами на выигрыш он располагает. Высокое, особенно эпическое и героическое начала воспринимались как открыто враждебные уютному бюргерскому миру. Старинный тон русской поэзии вовсе неспроста был объявлен позорным тоталитарным наследием — он виделся вызовом «несчастному частному человеку, которого и так все обижают и запугивают». Вот она, крысиная логика, породившая аж три поколения «мамкиных нет-войнистов».

Бунт принимался только определённого сорта — против оторвавшихся от народа верхов, но ни в коем случае не за оторванные от верхов низы («вы что, революции хотите?») Казалось бы, «болотный протест» рубежа 2010-х гг. должен был породить истинно народного яростного трибуна, но — парадокс? — ничего, кроме низменных пародий на советскую классику, исполнить не смог — нравственная импотенция прослойки дошла до предела.

Колонну молодых строили в полном соответствии со вкусами буржуазной публики — престарелой богемы, выбиравшей себе из приглянувшихся готических дев, а то и юношей партнёров на одну ночь, и «прогрессивного студенчества» — физиологически жвачных существ со средствами и взглядами настолько пустыми и порочными, что описывать их здесь нет никако-

го желания. Эстетически и личностно попытки создать поэтический стиль конца XX-го и начала XXI-го столетия кончились фатальной неудачей. Авторы-однодневки крошились в руках, едва успев дойти до магазинных полок. Завсегдатаями на них прочно сделались «новые блатные» — этнически близкие издателям и «спонсорам» краснобаи. Кумиров создавало не их нравственное или эстетическое содержание, а сообщество ловких дельцов, понятия не имеющих о том, что такое поэзия, и как она воздействует на сознание. Журналистская и политологическая хватка их если и гарантировала что-то, то поверхностность восприятия и вытекающую из него полнейшего непонимания того, что поэтическая строка откладывается в массовом сознании попросту ввиду лет свидетельством страдания и предвидения трагедии, и больше никак эта конструкция не работает.

Однако коммерческий бульдозер, что называется, рванул в гору, не желая славить никаких потусторонних для него страданий и мрачных предвидений, и результат его восхождения предсказуемо оказался нулевым.

Так — насильственно — спускалась планка профессионального мастерства. «Отставить сопли, мы смотрим только качественный мотивирующий контент!» Сама лексика «смотрящих за искусством» свидетельствовала о том, из каких смрадных проулков они вывернули, на каких оптовых плодоовощных базах они получили образование и воспитание. Генеральные директора и ответственные секретари не чего-нибудь, а литературных премий с претенциозными заглавиями (на языке торгаша — «брендами»), они видели в премиях источник легального (в отличие от промысла на оружии, наркотиках и рабах) дохода. При таких менеджерах бессмысленно было затевать профессиональные разговоры — они понимали только логику шоу-бизнеса, где чем тупее «контент» и разболтаннее «подача», тем они и коммерчески выгоднее.

В нерушимой спайке с равнодушным и алчным чиновничеством (литературу «отдали» Министерству цифрового развития и так и не вернули в Министерство культуры) орда хватких профанов представляла собой бастион, штурмовать который означало торговать честью.

Так эта фабрика шутов развеяла в прах надежды двух поколений быть услышанными своей страной.

Игра на понижение

Отрицательный отбор — инструмент настолько действенный, что описать всю сферу его применения нет никакой возможности.

То, что из поэта сделали обслугу, развлекающую почтеннейшую публику, ещё так-сяк, но то, что были сокрушены профессиональные критерии — рифма, размер, метафора — преступление гораздо более тяжкое. Если образцом становится тщательно отобранный по признаку лояльности к происходящей национальной деградации полудурок, пиши пропало. И если «критика» пишет о таком полудурке дюжину наукообразных монографий с употреблением запредельной терминологии, это полный конец мастерства — *имитационная практика* и безвозвратная аннигиляция национального мелодизма.

Фактически ловкачи уничтожили связь поэзии и народа — сперва возлюбленную людьми силлабо-тоническую просодию (рифму, строчный счёт слогов и ударений), а затем и перцепцию (восприятие) целого народа.

«Поэт»

Это слово с некоторых пор только и можно, что взять в кавычки, ибо венцом творения премиальных бонз явилась одноимённая премия Чубайса, предоставляемая победителю от возглавляемой им тогда РАО ЕЭС России в размере (сумма прописью) *пятидесяти тысяч евро*.

Я всё ждал, что ей успеют наградить одного открытого содомита, возглавлявшего чуть ли не всю молодёжную поэзию Москвы, но не дождался: деятеля, внука известной переводчицы, оценили всего-навсего «Московским счётом», ну, и «*независимой премией имени Андрея Белого*», детища ещё антисоветских литературных подпольщиков.

О «Московском счёте» могу сказать одно: судейство этой премии, объявленное самым демократичным, было одновременно и самым закрытым, поскольку на частные мнения сотен членов «открытого жюри» верхушке премии было изначально наплевать — «счёт» присуждался только тем, кому «надо» его присудить. Годами я добивался того, чтобы мне не присылали от этой замаранной коррупцией премии «писем счастья» с просьбой кого-то (не себя же) отметить среди сотни-другой только что вышедших в Москве книг, и лишь в самом конце 2010-х гг. моё смиренное прошение к организаторам не выставлять мои книги в общем списке изданного в Москве и не принуждать меня отдавать голос кому-то из огромного списка было, наконец, удовлетворено.

О самом же «Поэте» что скажешь? Среди лауреатов есть и значимые имена, но эта премия страдала одним, на мой взгляд, существенным недостатком — сделавшись ристалищем практически одного поколения (за единственным исключением последнего сезона), она ровно тринадцать раз отмечала светочей последнего советского поколения, и тихо почила за его исчерпанностью, а заодно и усталостью «спонсора».

За тридцать с лишним лет в бывшей *самой читающей стране мира* погиб, не дождавшись признания, не один десяток поэтов первой величины, не согнувшихся перед новым оккупационным порядком, а торжествующее антисоветское подполье, страстно желавшее в официоз, сделалось им. На тех фуршетах они, наконец, наелись впрок лет на полтора.

А все мы, родившиеся в 1960-1970-е гг., чтобы длить в себе язык старых мастеров, были объявлены мертворождёнными «сталинскими соколами» и вышвырнуты под добру-поздорову из «дискурса», и только наиболее сговорчивые фигляры из готовых «воплощать повестку» (троцкизм, ЛГБТ, далее по вкусу) были допущены на пороги бывших советских редакций. Анемичные библиографы, скакнувшие на места главных журнальных редакторов, искали в самотёке чего-то непременно «авангардного», то есть, языковых и смысловых сбоев, разрушавших традиционную в русской поэзии структуру высказывания. Больше их ничто не интересовало: их скрючивало от самой силлабо-тонической графики. Вот почему они восторженно аплодировали шишам брянским с их сатанинской матерщиной.

А много ли нас было? Дети книжной страны, её суровой доброты, мы только-то и могли, что понимать свою ненужность новому времени. Единственным нашим негласным договором между собой было обещание ничего не прощать колонизаторам, не продаваться им и через триста лет, что бы они нам ни обещали и как бы ни улещивали. И мне так радостно от того, что терпеть осталось не так много, как в самом начале... Теперь и имена наши сокрыты, и личные дела сожжены.

Проигранной нами Западу оказалась война за свободу и независимость нового русского слова — гарантии свободы и независимости нашей страны.

И похоронила нас не чья-нибудь персональная коммерция, а *логика денег*, первым следствием которой явилось агрессивно системное и структурное отрицание значимости современной русской поэзии, лишение всех нас не какого-нибудь «статуса советского писателя» с пухлой коркой членского билета в кармане, а внимания целого общества.

На сегодня изменений в сложившейся иерархии отбора — никаких: командные посты в управлении литературой так и занимают в большинстве своём люди, при которых оккупационный порядок и восторжествовал.

Из всего здания советской литературы уцелел последний реликт — Литературный институт, который я имел честь окончить ещё при частично живых поэтах-фронтовиках, заложивших основы и вольнолюбивого русского стиля. Здесь ещё можно на время отрешиться от сатанинского морока, представить его чем-то несущественным, далёким, но сражаться с ним и победить... люди в большинстве своём прекрасно научились обходиться без поэтов, а при сенсорном голоде им вполне хватает примитивного информационного шума.

Культура рабов — ещё ладно... куда страшнее культура вольноотпущенников, поистине беспощадная тварь, не знающая жалости к обедневшим и немощным. Она признаёт лишь силу, причём силу своего главного идола — денег.

Фестивальная лихоманка

Бытием русского поэта в новом тысячелетии стал снятый за гроши подвал. Хотели заживо гнить в «Бродячих собаках»? Получите. Всё, что я запомнил за последние двадцать пять лет — нависающие надо мной декоративно белёные или декоративно оставленные без побелки кирпичные своды подвалов.

В силу вошёл университетско-западный, то есть, фестивальныи и грантовый стиль поэтической и прозаической жизни. Жить на целевые пособия от государства и «частных структур» со строгой отчётностью и строгим идеологическим соответствием ценностям развитого капитализма — вот какова стала участь. И главный «показ мод» (отбор в элиту, близкие знакомства с распорядителями) предстоял поэту на расплодившихся по всему постсоветскому пространству фестивалях, последней резервации словесности вне подвалов и замшелых библиотек.

«Петербургский трамвай» им. Гумилёва, «Киевские лавры», «Slowwwwo/Word», Волошинский фестиваль — поэту предлагалось присутствовать всюду. Это означало, что нормального рабочего графика он, по определению богемный персонаж, иметь не должен, а если и обязан, то располагать морем свободного времени и средств. *Фестивальное бытие* подразумевало не только присутствие в худосочных залах, но и непрерывную выпивку и промискуитет. Примерно так происходил отбор в сословие — на гульбищах отбирали себе наиболее сговорчивых редакторы журналов, и там же инициировались и иные «издательские проекты» общим весом экземпляров на двести-триста. Такие тиражи в угоду самолюбию стали называть не ничтожными, а «ограниченными», будто бы элитарно предназначенными для каких-то титанов духа. Видел я и тех титанов, с растрёпанными седыми космами, полупьяных или совершенно пьяных «владельцев дис-

курса», бунтарей прежних советских лет, доплывших либо до эмиграций, либо до мельтешения около олигархических «фондов поддержки», а то и того, и другого сразу...

Самое узкое горло

Честному словеснику ни за что и ни при каких и условиях сегодня не попасть на международные книжные выставки — отбором туда занимаются ведомства такого уровня, что не каждый издатель о них наслышан. Об отечественных затеях подобного «формата» можно сказать примерно то же самое: плата за стенд чуть ниже, и расходы на дорогу чуть меньше, но суть одна: только приближённые, идеологически верные.

Надо сказать, мало радости днями торчать на стендах, сидеть на стуле с микрофоном, отвечая на дурацкие вопросы случайных зевак, но почему именно книжная выставка сделалась чем-то недоступным для авторов, не располагающих знакомствами с финансово состоятельными издателями, тоже понятно: барьеры должны быть высокими, чтобы враги не проникли в стан финансовой олигархии, чтобы ни слова со стороны народной в этих утомительно шумных залах не раздалось, а только потоком текущие невнятные термины и самые восторженные благодарности незабвенным благодетелям.

Именно на зарубежных выставках скрыто от посетителей и проходят основные консультации по переводу того или иного русофоба на иностранный язык, и именно российский гарант отвечает за качество русофоба: он — «свой», его — «можно». По их предоставлению зарубежный издатель, связанный обязательствами перед «институтами развития» (западными разведками), и соглашается «пригласить» русофоба для очной беседы и развернуть перед ним «спектр возможностей», включая сезонную эмиграцию или ПМЖ.

Журнальная паранойя

Я, признаться, пропустил момент, когда журнальная «свобода слова» скатилась к «чёрным спискам», но, узнав об этом в середине 2010-х гг., помнится, немало удивился, хотя чему, собственно?

Диктатура либералов и раньше особой идейной гибкостью не обладала, и хищная паранойя в отношении тех или иных авторов должна была рано или поздно возобладать уже исходя из психического устройства либеральных слуг режима. Деньги всегда правы, и нищий потому всегда виноват одним уж тем, что брезгует святыней денег из лени и бездарности, а третьего — инстинктивного отвращения к деньгам — не дано.

Журналам сегодня подавай вегетарианское. Дружно, за считанными исключениями, отстранились они от «Z-поэзии» и даже от «Z-прозы», считая её скороспелой и откровенно опасной. СВО для них язва, мешающая дружить с дорогими партнёрами, шлющими и шлющими оружие и людей для растаптывания Новороссии, а те авторы, что выступили на стороне воюющей армии, занесены в списки неприемлемых.

Кого ни возьми среди грызунов, принявших человеческое обличье, поощряется среди них лишь безобидное, втихомолку умствующее, а временами откровенно оппозиционное. Гражданскую смелость эти притворщики, как и духовные отцы и матери их, видят в завуалированных фигах. Фига — государству, фига — народу, фига — солдатам и офицерам.

И единственное, может быть, чем я жив сегодня, тем, что люди этого предательства с годами не забудут, и даже если этих деятелей спровадят в могилу под фанфары, не лишив ни наград, ни званий, пусть хотя бы громовое молчание сопровождает их здесь, на земле, так много претерпевшей от их владычества.

Бригады «Ух»

Об эстетических группировках в современной российской словесности говорить не приходится: их не возникло, поскольку в новой российской словесности отсутствовало и продолжает отсутствовать само существо дела — *страна, народ и история*. Вне соприкосновения авторского текста и его сознания с этими величинами русской литературы не существует. Вне его она превращается в дневник, но только не Тани Савичевой, а бессмысленного и безымянного по сути мещанина.

Не стану отрицать возможности создания в патриотическом лагере величественных эпopeй и романов столетия, но мне об этом ничего не известно. Тиражи такие, что никакого общественного обсуждения значимых произведений попросту не возникает. Литературная среда распылена на группки, не способные создать ни школ, ни течений, ни значимых эстетик, за исключением упомянутого выше матерного верлибра.

Возникшие в 1980-е «концептуализм» и «мета-реализм» точно можно опустить за ненужностью — это последние русские (здесь я проставляю некоторый вопрос на полях) поэтические эстетики, и говорить о них в аспекте 1990-х и тем более поздних лет нет никакой надобности. Остались две «величины» — так называемая «сетевая поэзия», которая никакой эстетикой по понятным причинам не является, потому что сама не определяет себя как эстетика, и никакими общими видовыми признаками или признаками, способными заинтересовать литературоведа, не обладает, и «фем-поэзия» — то есть, поэзия феминисток, представляющая собой пассивно агрессивное нытьё с элементами хтонического ведьмовства и откровенного сатанизма.

Возникли лет с десять назад «пирожки» — прикольные стишонки частушечного свойства. Всё. Больше никаких значимых явлений буржуазная русская поэтическая культура не дала и уже не даст. Поздно: сменились целые поколения, а в ещё как будто бы устойчивом народном сознании запечатлелось от Золотого века щепоть, от Серебряного другая, и в двадцатом веке народными значатся Есенин, Высоцкий и — с натяжкой — Рубцов. Главный признак поэта в «народном» (или «массовом», а ещё точнее — «необразованном») сознании — неумеренное питание и ранняя смерть.

Заключение заключённого

И всё же современная русская поэзия есть.

А как и за счёт чего она есть, я и сам, откровенно говоря, не понимаю. Вне государственных и частных щедрот — чистым духом и желанием принести пользу родной стране.

Их тонких сборников уже никто не прочтёт и не выскажет о них никакого суждения: они растворены в такой толще времени, что ни один литературовед не напишет о них даже самого приблизительного исследования, и даже реестры изданного за свой счёт никто не выложит в

открытый доступ: их нет. Утеряны и книжечки, и целых два поколения поэтов, способных со-
ставить славу страны.

Меж тем по сравнению с веком Золотым и Серебряным русская поэзия двинулась вперёд
настолько неоглядно, и настолько она сделалась умна и трагична, совершенна в технике, что
никто из действующих вельмож от критики оценить её не способен. Отсутствует научный ин-
струментарий для подобной оценки: старый давно непригоден, а новый выдумать полени-
лись.

А теперь давайте вспомним:

*«Больше Бена (Русский сюрприз для Королевы-Мамы)», «Эхо женщин», «Три ада», «Армия
Гутэнтака», «Холодное пиво в солнечный полдень», «Сахарная болезнь», «Фавн на берегу Томи»,
«Хирургическое вмешательство», «Сучья кровь», «Криминология присутствия», «Прежде чем
сдохнуть», «Слонодёмия», «Время Бармаглота», «Танцы со свиньями», «Попугай в медвежьей бер-
логе», «Галатея Собакина».*

Вопрос первый: кто авторы этих бессмертных произведений?

Молчание.

Вопрос второй: кто читал хотя бы что-то из приведённого списка?

Молчание.

А между прочим, это лауреаты премии «Дебют» (2000-2016).

...Нет у новой буржуазной российской словесности никаких перспектив, и не только по-
тому, что я, неуклюжий, перекачанный в спортзалах своей юности, отроду не понимавший и
не принимавший колониальной сверху донизу «современной повестки», не удосужился в неё
попасть, а потому что объективно, несмотря на доклады и отчёты о её якобы великолепном
шествии по планете, она не существует. Морок и туман вместо словесности, господа, и сделать
с этим ничего уже нельзя. Отвалился целый пласт времени, а под ним оказалось пусто и темно.

Дранка на ветру шелестит.

Под самый конец позволю себе привести одно из моих самых любимых стихотворений,
символическое уже тем, что обозначает всех нас в русской поэзии трёх десятилетий, и саму
русскую поэзию в нас:

*Дерево-дерево, как ты не сдохло?
Что ты стоишь под окном?
Силы небесные, грязные стёкла.
Выстоим — передохнём.*

*Всё же устроено ясно и просто,
есть у подъезда скамья.
Дерево-дерево, что за упорство
накось и вкривь, но стоймя?*

*Ветви побитые тянутся книзу.
Душно, похоже, к дождю.
Дерево-дерево, толстую книгу
я тебе скоро дочту.*

*Там и осталось-то меньше абзаца,
я понимаю протест.
Дерево-дерево, страшно обняться.
Что там осталось прочесть.*

(Константин Кроитор, 2012)